

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44  
Г65

Оформление *А. Саукова*  
В оформлении обложки использована  
репродукция картины художника  
Мориса Лелуара (1851–1940)

**Гончаров, Иван Александрович.**  
Г65 Обыкновенная история / Иван Гончаров. —  
Москва : Эксмо, 2019. — 416 с.

ISBN 978-5-04-090976-6

«Обыкновенная история» — первый роман русского писателя Ивана Александровича Гончарова, вызвавший большой интерес у современников, в том числе благодаря всегда актуальному сюжету — истории превращения провинциального юноши-романтика в прагматичного, состоятельного и равнодушного столичного жителя.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-090976-6

© Оформление.  
ООО «Издательство «Эксмо», 2019

«С прошедшей почтой послал вам книгу, прочтите эту прелесть. Вот где учишься жить. Видишь различные взгляды на жизнь, на любовь, с которыми можешь ни с одним не согласиться, но зато свой собственный становится умнее и яснее».

*Л. Н. Толстой – В. В. Арсеньевой,  
1856 г. Декабря 7. Петербурге*

«И здесь – в встрече мягкого, избалованного ленью и барством мечтателя-племянника с практическим дядей – выразился намек на мотив, который едва только начал разыгрываться в самом бойком центре – в Петербурге. Мотив этот – слабое мерцание сознания, необходимости труда, настоящего, не рутинного, а живого дела в борьбе с всероссийским застоєм».

*И. А. Гончаров.  
«Лучше поздно, чем никогда»*



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### 1

Однажды летом, в деревне Грачах, у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой, все в доме поднялись с рассветом, начиная с хозяйки до цепной собаки Барбоса.

Только единственный сын Анны Павловны, Александр Федорыч, спал, как следует спать двадцатилетнему юноше, богатырским сном; а в доме все суетились и хлопотали. Люди ходили, однако ж, на цыпочках и говорили шепотом, чтоб не разбудить молодого барина. Чуть кто-нибудь стукнет, громко заговорит, сейчас, как раздраженная львица, являлась Анна Павловна и наказывала неосторожного строгим выговором, обидным прозвищем, а иногда, по мере гнева и сил своих, и толчком.

На кухне стряпали в трое рук, как будто на десятиях, хотя все господское семейство только и состояло что из Анны Павловны да Александра Федорыча. В сарае вытирали и подмазывали повозку. Все были заняты и работали допоту лица. Барбос только ничего не делал, но и тот по-своему принимал участие в общем движении. Когда мимо него проходил лакей, кучер или шмыгала девка, он махал хвостом и тщательно обнюхивал проходящего, а сам глазами, кажется,

спрашивал: «Скажут ли мне, наконец, что у нас сегодня за суматоха?»»

А суматоха было оттого, что Анна Павловна отпускала сына в Петербург на службу, или, как она говорила, людей посмотреть и себя показать. Убийственный для нее день! От этого она такая грустная и расстроенная. Часто, в хлопотах, она откроет рот, чтобы приказать что-нибудь, и вдруг остановится на полуслове, голос ей изменит, она отвернется в сторону и оботрет, если успеет, слезу, а не успеет, так уронит ее в чемодан, в который сама укладывала Сашенькино белье. Слезы давно кипят у ней в сердце; они подступили к горлу, давят грудь и готовы брызнуть в три ручья; но она как будто берегла их на прощанье и изредка тратила по капельке.

Не одна она оплакивала разлуку: сильно горевал тоже камердинер Сашеньки, Евсей. Он отправлялся с барином в Петербург, покидал самый теплый угол в дому, за лежанкой, в комнате Аграфены, первого министра в хозяйстве Анны Павловны и — что важнее для Евсея — первой ее ключницы.

За лежанкой только и было места, чтоб поставить два стула и стол, на котором готовился чай, кофе, закуска. Евсей прочно занимал место и за печкой, и в сердце Аграфены. На другом стуле заседала она сама.

История об Аграфене и Евсее была уж старая история в доме. О ней, как обо всем на свете, говорили, позлословили их обоих, а потом, так же как и обо всем, замолчали. Сама барыня привыкла видеть их вместе, и они блаженствовали целых десять лет. Многие ли в итоге годов своей жизни начтут десять счастливых? Зато вот настал и миг утраты!

Прощай, теплый угол, прощай, Аграфена Ивановна, прощай, игра в дураки, и кофе, и водка, и наливка — все прощай!

Евсей сидел молча и сильно вздохнул. Аграфена, насупаясь, суетилась по хозяйству. У ней горе выразилось по-своему. Она в тот день с ожесточением разлила чай и вместо того, чтобы первую чашку крепкого чаю подать, по обыкновению, барыне, выплеснула его вон: «никому, дескать, не доставайся», и твердо перенесла выговор. Кофе у ней перекипел, сливки подгорели, чашки валились из рук. Она не поставит подноса на стол, а брякнет; не отворит шкафа и двери, а хлопнет. Но она не плакала, а сердилась на все и на всех. Впрочем, это вообще было главною чертою в ее характере. Она никогда не была довольна; все не по ней; всегда ворчала, жаловалась. Но в эту роковую для нее минуту характер ее обнаруживался во всем своем пафосе. Пуще всего, кажется, она сердилась на Евсея.

— Аграфена Ивановна!.. — сказал он жалобно и нежно, что не совсем шло к его длинной и плотной фигуре.

— Ну, что ты, разиня, тут расселся? — отвечала она, как будто он в первый раз тут сидел. — Пусти прочь: надо полотенце достать.

— Эх, Аграфена Ивановна!.. — повторил он лениво, вздыхая и поднимаясь со стула и тотчас опять опускаясь, когда она взяла полотенце.

— Только хнычет! Вот пострел навязался! Что это за наказание, Господи! и не отвяжется!

И она со звоном уронила ложку в полоскательную чашку.

— Аграфена! — раздалось вдруг из другой комнаты, — ты, никак, с ума сошла! разве не знаешь, что

Сашенька почивает! Подралась, что ли, с своим возлюбленным на прощанье?

— Не пошевелись для тебя, сиди, как мертвая! — прошипела по-змеиному Аграфена, вытирая чашку обеими руками, как будто хотела изломать ее в куски.

— Прощайте, прощайте! — с громаднейшим вздохом сказал Евсей, — последний денек, Аграфена Ивановна!

— И слава Богу! путь унесут вас черти отсюда: просторнее будет. Да пусти прочь, негда ступить: протянул ноги-то!

Он тронул было ее за плечо — как она ему ответила! Он опять вздохнул, но с места не двигался; да напрасно и двинулся бы: Аграфене этого не хотелось. Евсей знал это и не смущался.

— Кто-то сядет на мое место? — промолвил он, все со вздохом.

— Леший! — отрывисто отвечала она.

— Дай-то Бог! лишь бы не Прошка. А кто-то в дураки с вами станет играть?

— Ну хоть бы и Прошка, так что ж за беда? — со злостью заметила она.

Евсей встал.

— Вы не играйте с Прошкой, ей-Богу, не играйте! — сказал он с беспокойством и почти с угрозой.

— А кто мне запретит? ты, что ли, образина этакая?

— Матушка, Аграфена Ивановна! — начал он умоляющим голосом, обняв ее за талию, сказал бы я, если бы у ней был хоть малейший намек на талию.

Она отвечала на объятие локтем в грудь.

— Матушка, Аграфена Ивановна! — повторил он, — будет ли Прошка любить вас так, как я? Погля-

дите, какой он озорник: ни одной женщине проходу не дает! А я-то! э-эх! Вы у меня, что синь-порох в глазу! Если б не барская воля, так... эх!..

Он при этом крикнул и махнул рукой. Аграфена не выдержала: и у ней наконец горе обнаружилось в слезах.

— Да отстанешь ли ты от меня, окаянный? — говорила она, плача, — что мелешь, дуралей! Свяжусь я с Прошкой! разве не видишь сам, что от него путного слова не добьешься? только и знает, что лезет с ручищами...

— И к вам лез? Ах, мерзавец! А вы небось не скажете! Я бы его...

— Полезь-ка, так узнает! Разве нет в дворне женского пола, кроме меня? С Прошкой свяжусь! вишь, что выдумал! Подле него и сидеть-то тошно — свинья свиньей! Он, того и гляди, норовит ударить человека или сожрать что-нибудь барское из-под рук — и не увидишь.

— Уж если, Аграфена Ивановна, случай такой придет — лукавый ведь силен, — так лучше Гришку посадите тут: по крайности, малый смиренный, работающий, не зубоскал...

— Вот еще выдумал! — накинулась на него Аграфена, — что ты меня всякому навязываешь, разве я какая-нибудь... Пошел вон отсюда! Много вашего брата, всякому стану вешаться на шею: не таковская! С тобой только, этаким лешим, попутал, видно, лукавый за грехи мои связаться, да и то каюсь... а то выдумал!

— Бог вас награди за вашу добродетель! как камень с плеч! — воскликнул Евсей.

— Обрадовался! — зверски закричала она опять, — есть чему радоваться — радуйся!



И губы у ней побелели от злости. Оба замолчали.

— Аграфена Ивановна! — робко сказал Евсей немного погодя.

— Ну, что еще?

— Я ведь и забыл: у меня нынче с утра во рту маковой росинки не было.

— Только и дела!

— С горя, матушка.

Она достала с нижней полки шкафа, из-за головы сахару, стакан водки и два огромные ломтя хлеба с ветчиной. Все это давно было приготовлено для него ее заботливой рукой. Она сунула ему их, как несут и собакам. Один ломоть упал на пол.

— На вот, подавись! О, чтоб тебя... да тише, не чавкай на весь дом.

Она отвернулась от него с выражением будто ненависти, и он медленно начал есть, глядя исподлобья на Аграфену и прикрывая одною рукою рот.

Между тем в воротах показался ямщик с тройкой лошадей. Через шею коренной переброшена была дуга. Колокольчик, привязанный к седелке, глухо и несвободно ворочал языком, как пьяный, связанный и брошенный в караульню. Ямщик привязал лошадей под навесом сарая, снял шапку, достал оттуда грязное полотенце и отер пот с лица. Анна Павловна, увидев его из окна, побледнела. У ней подкосились ноги и опустились руки, хотя она ожидала этого. Оправившись, она позвала Аграфену.

— Поди-ка на цыпочках, тихохонько, посмотри, спит ли Сашенька? — сказала она. — Он, мой голубчик, проспит, пожалуй, и последний денек: так и не нагляжусь на него. Да нет, куда тебе! ты, того гляди, влезешь, как корова! я лучше сама...

И пошла.

— Поди-ка ты, не корова! — ворчала Аграфена, воротясь к себе. — Вишь, корову нашла! много ли у тебя этаких коров-то?

Навстречу Анне Павловне шел и сам Александр Федорыч, белокурый молодой человек, в цвете лет, здоровья и сил. Он весело поздоровался с матерью, но, увидев вдруг чемодан и узлы, смутился, молча отошел к окну и стал чертить пальцем по стеклу. Через минуту он уже опять говорил с матерью и беспечно, даже с радостью смотрел на дорожные сборы.

— Что это ты, мой дружок, как заспался, — сказала Анна Павловна, — даже личико отекло? Дай-ка вытру тебе глаза и щеки розовой водой.

— Нет, маменька, не надо.

— Чего ты хочешь позавтракать: чайку прежде или кофейку? Я велела сделать и битое мясо со сметаной на сковороде — чего хочешь?

— Все равно, маменька.

Анна Павловна продолжала укладывать белье, потом остановилась и посмотрела на сына с тоской.

— Саша!.. — сказала она через несколько времени.

— Чего изволите, маменька?

Она медлила говорить, как будто чего-то боялась.

— Куда ты едешь, мой друг, зачем? — спросила она наконец тихим голосом.

— Как куда, маменька? в Петербург, затем... затем... чтоб...

— Послушай, Саша, — сказала она в волнении, положив ему руку на плечо, по-видимому с намерением сделать последнюю попытку, — еще время не ушло: подумай, останься!

— Остаться! как можно! да ведь и... белье уложено, — сказал он, не зная, что выдумать.

— Уложено белье! да вот... вот... вот... гляди — и не уложено.

Она в три приема вынула все из чемодана.

— Как же это так, маменька? собрался — и вдруг опять! Что скажут...

Он опечалился.

— Я не столько для себя самой, сколько для тебя же отговариваю. Зачем ты едешь? Искать счастья? Да разве тебе здесь нехорошо? разве мать день-деньской не думает о том, как бы угодить всем твоим прихотям? Конечно, ты в таких летах, что одни материнские угождения не составляют счастья; да я и не требую этого. Ну, погляди вокруг себя: все смотрят тебе в глаза. А дочка Марьи Васильевны, Сонюшка? Что... покраснел? Как она, моя голубушка — дай Бог ей здоровья, — любит тебя: слышь, третью ночь не спит!

— Вот, маменька, что вы! она так...

— Да, да, будто я не вижу... Ах! чтоб не забыть: она взяла обрубить твои платки — «я, — говорит, — сама, сама, никому не дам, и метку сделаю», — видишь, чего же еще тебе? Останься!

Он слушал молча, поникнув головой, и играл кистью своего шлафрока.

— Что ты найдешь в Петербурге? — продолжала она. — Ты думаешь, там тебе такое же житье будет, как здесь! Э, мой друг! Бог знает чего насмотришься и натерпишься: и холод, и голод, и нужду — все перенесешь. Злых людей везде много, а добрых не скоро найдешь. А почет — что в деревне, что в столице — все тот же почет. Как не увидишь петербургского житья, так и покажется тебе, живучи здесь, что ты первый в мире; и во всем так, мой милый! Ты же воспитан, и ловок, и хорош. Мне бы, старухе, только оставалось радоваться, глядя на тебя. Женился бы,

послал бы Бог тебе деточек, а я бы нянчила их — и жил бы без горя, без забот, и прожил бы век свой мирно, тихо, никому бы не позавидовал; а там, может, и не будет хорошо, может, и помянешь слова мои... Останься, Сашенька, — а?

Он кашлянул и вздохнул, но не сказал ни слова.

— А посмотри-ка сюда, — продолжала она, отворяя дверь на балкон, — и тебе не жаль покинуть такой уголок?

С балкона в комнату пахнуло свежестью. От дома на далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озеро, облитое к одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало; с другой — темно-синее, как небо, которое отражалось в нем, и едва подернутое зыбью. А там нивы с волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу.

Анна Павловна, прикрыв одной рукой глаза от солнца, другой указывала сыну попеременно на каждый предмет.

— Погляди-ка, — говорила она, — какой красотой Бог одел поля наши! Вон с тех полей одной ржи до пятисот четвертей сберем; а вон и пшеничка есть, и гречиха, только гречиха нынче не то, что прошлый год: кажется, плоха будет. А лес-то, лес-то как разросся! Подумаешь, как велика премудрость Божия! Дровец с своего участка мало-мало на тысячу продадим. А дичи, дичи что! и ведь все это твое, милый сынок: я только твоя приказчица. Погляди-ка, озеро: что за великолепие! истинно небесное! рыба так и ходит; одну осетрину покупаем, а то ерши, окуни, караси